

ХОСЕ АСУНСЬОН СИЛЬВА

*Перевод с испанского Майи Квятковской **

К нам идет святой Хуан

Ты, пила,
пили чурбан!
К нам идет
святой Хуан,
будет каждый
сыт и пьян:
для Родриго
есть коврига,
а для Рике —
горсть клубники,
а для Трике —
марципан,
трики, трики, трики, тран,
трики, трики, тран!

На худых коленях бабушки качаясь,
прыгает ребенок, устали не зная, —
видно, им обоим час веселья дан!
Бабушка смеется, мальчика лаская,
но невольно душу темный страх сжимает,
что ее внучонка горе ожидает,
разочарованья, боль душевных ран...

К нам идет
святой Хуан,
будет каждый
сыт и пьян —
трики, трики, тран!

На щеках морщины — летопись былого;
от немой тревоги, долгих испытаний
побелели косы и согнулся стан,
на лице увядшем — след былых страданий,
а в глазах потухших, зеркалах без света,
отразились годы, лица и предметы —
все, что невозвратно кануло в туман...

Для Родриго
есть коврига,
трики, трики, трики, тран!..

* ХОСЕ АСУНСЬОН СИЛЬВА — Стихи (*Перевод с испанского Майи Квятковской*) // *Поэзия Колумбии* (М.: Художественная литература, 1991), 19–41.
Некоммерческое электронное издание. «Im Werden Verlag», 2008.
<http://imwerden.de>

Старая однажды вечным сном задремлет
далеко от мира, под землю грустной,
ибо всем на свете общий жребий дан.
Но в душе у внука голос безыскусный,
давнюю поэму детства навевая,
время и пространство преодолевая,
завучит приветом из нездешних стран.

А для Рике —
горсть клубники,
трики, трики, трики, тран!..

А сегодня утром на ее коленях
прыгает ребенок, устали не зная, —
видно, им обоим час веселья дан!
Бабушка смеется, мальчика лаская,
но невольно душу темный страх сжимает,
что ее внучонка горе ожидает,
разочарованья, боль душевных ран...

К нам идет
святой Хуан,
будет каждый
сыт и пьян:
для Родриго
есть коврига,
а для Рике —
горсть клубники,
а для Трике —
марципан,
трики, трики, трики, тран,
трики, трики, тран!

Когда в ночи...

Когда в ночи, во мраке, светлой тенью
по клавишам твои порхают руки,
порхают мотыльками над сиренью,
с клавиатуры обрывая звуки,
и, рассекая темные просторы,
из окон льется лунное сиянье
широкими потоками сквозь шторы,
и на крылах мелодии к иному
лечу я думой берегу и дому,
к готическому замку за морями,
чьи стены поросли седыми мхами,
где, на окно облокотясь, мы рядом
следим, как умирает вечер хмурый,
густеющую тьму встречая взглядом,
ты — госпожа, я — паж твой белокурый,

и сумерки заполняют залу,
и золотит огонь ее убранство,
и мы с улыбкой смотрим друг на друга,
а ветер, плача, мчится сквозь пространство!

.
Как вы крылаты, вздорные мечты,
когда в ночи парят ее персты!

О, воскреси, поэт...

О, воскреси, поэт,
былые поцелуи!

Мрак. И воспоминанье... Нас полночь окружала.
Ни звездочки. Моею была ты и дрожала,
дрожащая, моею была ты в этот миг,
когда светляк случайный наш поцелуй застиг.
О, свежесть уст девичьих с их нежной чистотою!
Таинственная сельва нам ложе разостлала...
Здесь даже мхи пропахли твоею резедою...
Пролился свет сквозь ветви — не утро ли настало?
Нет, то луна сквозь тучи внезапно заблестала.

О, воскреси, поэт,
свиданья поцелуи!

В том царственном алькове ничто нам не мешало —
ковров пушистых мягкость все шумы заглушала,
забуду ль эти ночи и поцелуя миг,
когда, обняв нагую, к твоим устам приник!
Твой стан двадцатилетний и волосы волною
на шелке ярко-алом, и тайной грусти жало,
и холодность девичья, и свежей резедою
надушенное ложе... Таинственно дрожала
лампада, озаряя узоры покрывала.

О, воскреси, поэт,
прощальный поцелуй!

Ах, что за ночь однажды в судьбе моей настала!
Гроб посредине зала, с гербами покрывало...
Измученный, бессонный, у гроба я поник
и гомон монотонный чуть слышал в этот миг.
Твой бледный лик светился прозрачной желтизною,
дрожали над тобою огни свечей устало,
и в зале было душно, и пахло резедою,
и над тобой распяты объятья раскрывало,
и те уста, что звал я своими, — смерть сковала.

Давней ночью...

Давней ночью,
ночью, полной ароматов, полной шепота
и плеска птичьих крыльев;
давней ночью,
ночью свежей, ночью брачной,
освещенной колдовскими светляками,
ты, прильнув ко мне всем телом,
и бледна, и молчалива,
словно чувствуя заране наши будущие беды,
в неосознанной тревоге,
омрачившей сердца тайные глубины,
через сонную равнину,
по тропе в цветах и травах,
шла со мною;
и луна светлей опала
в небесах темно-лиловых,
бесконечных и глубоких,
свет молочный разливала;
наши тени —
легким, стройным силуэтом, —
наши тени,
обрисованные белым лунным светом,
на равнине беспредельной,
сочетались,
и, сливаясь воедино,
и, сливаясь воедино,
и, сливаясь воедино,
стали тенью нераздельной,
и, сливаясь воедино,
стали тенью нераздельной,
и, сливаясь воедино,
стали тенью нераздельной...
Этой ночью
я один, и мое сердце
переполнено непоправимым горем,
обездолено твоею смертью;
многое меня с тобою разделило —
расстоянье, время и могила,
в бесконечность,
в черный мрак извечный
канули бесследно наши речи;
онемевший, одинокий,
снова проходил я той дорогой,
и собаки выли на луну,
на бескровную луну,
и гремели лягушачьи хоры...

И в меня ворвался холод — то был холод,
овладевший навсегда твоим альковым,
оковавший твои руки, твои щеки, твои очи,
белоснежным скрытые покровом
погребальным.
То был холод замогильный, стужа смерти,
лед небытия.
Тень моя,
обведенная печальным лунным светом,
одинок,
одинок,
одинок протекала по пустыне.
Тень твоя
легким, стройным силуэтом
приближаясь,
словно той далекой ночью вешней,
ныне мертвой, вечно незабвенной,
ночью, полной ароматов, полной шепота
и плеска птичьих крыльев,
с нею рядом полетела
с нею рядом полетела
с нею рядом полетела...
Неразлучные обнявшиеся тени!
Тень души, спешащей слиться с тенью тела!
Тени скорбные, нашедшие друг друга
в эту ночь печали без предела!

Голоса вещей

Когда б я мог поймать вас сетью строк,
приветливые хрупкие создания, —
тебя, неяркий ириса цветок,
и месяц, проливающий сиянье
на свежий лист и влажный лепесток,
вобравший мая теплое дыханье, —
когда б я мог поймать вас сетью строк,
улыбчивые бледные создания!

Когда бы мог перехватить мой стих
вас, тусклые видения, в полете,
вас, воплощенья образов земных, —
сны, искры, эфемеры — вы прейдете!
Печальный поцелуй душе живых,
и нежный, и тлетворный, вы даете, —
когда бы мог перехватить мой стих
вас, тусклые видения, в полете.

*Ars*¹

О, стих, фиал священный! Едва его наполните
единой мыслью чистой, —
и в темно-алой влаге, бурля, забродят образы,
вскипая пузырьками в амброзии искристой.

Туда цветов подбросьте, убитых стужей мира
среди битвы непрестанной,
пучок воспоминаний о невозвратных веснах,
и туберозы в росах, и нард благоуханный.

Поверьте, чтобы скрасить земное прозябанье,
ничтожное, пустое, —
душе больной и чуткой, себя в огне сжигающей,
довольно малой капли волшебного настоя!

Серенада

На улице пустынно, ночь и прохлада;
луна, витая в тучах, все ждет кого-то;
вот жалюзи темнеют в окне фасада,
и трепетные звуки, за нотой нота,
взлетают из-под крыльев руки прилежной,
и о сердечных муках, исполнен жара,
рассказывает голос, и дрожью нежной
вторит гитара.

На улице пустынно, ночь и прохлада;
луна, минуя тучку, все ждет кого-то;
но жалюзи недвижны в окне фасада,
и угасают звуки, за нотой нота.
Быть может, серенада, звуча все тише,
найдет в девичьем сердце приют надежный,
как ласточки находят под краем крыши
пристанище и отдых в ночи тревожной...

На улице пустынно, ночь и прохлада;
луна в пространстве звездном все ждет кого-то;
и жалюзи раскрылись в окне фасада,
и умолкают звуки, за нотой нота,
и твердою рукою певец прилежный
к перилам подтянулся, исполнен жара,
и только простонала грустно и нежно
его гитара.

¹ Искусство (*лат.*).

Поэма

Задумал я однажды блестящую поэму,
в новаторской манере я разработал тему,

я колебался между гротескным и трагическим,
я созывал все ритмы заклятием магическим,

и ритмы подступали — лихие, непокорные,
сплетались, расплетались, унылые, задорные,

одни текли спокойней, другие — горячей,
одни — как птичий щебет, другие — звон мечей.

Здесь был Восток и Запад, здесь Север был и Юг —
все формы стихотворные сошлись в волшебный круг.

Едва не обрывая поводья шелковистые,
терцеты гарцевали, как кони норовистые,

но тут же расступились, исполнив этикет:
весь в пурпуре и в золоте, вошел король Сонет.

Запели все... И в этой неразберихе звонкой
пленился я строфою, изысканной и тонкой,

и к ней я устремился всем сердцем изумленным,
плененный музыкальным, хрустальным перезвоном.

Я взял ее в супруги, ей отдал все добро —
богатых рифм созвучья, хрусталь и серебро.

В ней воплотил я мысли поэмы благородной —
трагической и нежной, причудливо свободной;

то был рассказ печальный, саморазоблачительный,
о женщине умершей — любимой, восхитительной.

Чтоб выразить искусней утраты горечь злую,
я выбрал гамму звуков, подобных поцелую,

сплел золотые фразы в гармонии единой
и странной, словно лютня в слиянье с мандолиной.

Я подсветил неясно расплывчатые дали,
где облака клубились и брезжили печали;

там, выскочив из мрака, кривлялись в ритме пляски,
как в вихре карнавала, увертливые маски;

там слово мысль скрывало от посторонних глаз,
как черная личина, как бархат и атлас.

Я переплел в сюжете неясные внушенья,
таинственность предчувствий, соблазны, искушенья...

Стихам придал я, гордый могуществом артиста,
гелиотропа запах и пурпур аметиста.

Я дал прочесть поэму светилу одному;
шесть раз ее прочел он и буркнул: «Не пойму...»

*Midnight dreams*²

Когда в полночный час я был охвачен дремой,
былые сны ко мне пришли толпой знакомой.

Сны счастья и надежд, высокой славы сны —
все радости земли, что мне не суждены,

ко мне приблизились в процессии печальной,
заполнили собой углы и ниши спальни,

и гнет молчания в пустынный дом проник,
и маятник застыл, удерживая миг.

Забытых запахов невнятное дыханье
как призрак выплыло и как воспоминанье.

Увидел я глаза — их погасил злой рок,
услышал голоса — но их узнать не мог...

.

И увидали сны, что я уснул на ложе,
и тихо отошли, меня не потревожа,

скользнули по коврам неслышною стопой
и вновь растаяли, сливаясь с темнотой.

² Полночные грезы (англ.).

Тропический пейзаж

Объят дремотной магией поток,
неспешен путь в покое монотонном,
пейзаж тушуя, тень течет по склонам,
в низинах мрак сгустился и залег.

Мелькнет в лесу обжитый уголок —
приют индейца в захолустье сонном,
листва клубится кружевом зеленым,
но вечереет, яркий день поблек.

Венера загорелась в выси чистой.
Речную ширь пирога напролет
чертою рассекает серебристой.

Рожден закатом новый небосвод —
темно-зеленый, алый, золотистый —
во влажных зеркалах недвижных вод.

Мертвые

Во влажных рощах осени тоскливой
с приходом холодов, когда, алая,
кружится хоровод летучих листьев
и устилает мшистые аллеи, —
тогда туман, заполонив пространство,
стирает все знакомые приметы,
и желтый лист, лишенный соков жизни, —
как дар последний умершего лета,
и призрачный, печальный свет —
как смутное воспоминанье
о том, чего уж больше нет.

Такие есть шкафы в домах старинных,
что сохраняют в тайниках забытых
следы былых страстей и заблуждений,
тончайший дух секретов нераскрытых,
любовных писем пожелтитель ворох, —
то память лучших лет, быть может, глупых;
сухие, почернелые букеты —
былых цветов изломанные трупы;
их затхлый запах, блеклый цвет —
как смутное воспоминанье
о том, чего уж больше нет.

Так в душах любящих, когда тоскуют
они о радости, уже далекой,
что не вернется в темный день грядущий
их утешать в печали одинокой —
в тех душах есть бездонная усталость,
она упавших в битве добивает,
неясная, как цвет увядших стеблей,
как слабый запах, что не убывает:
усталость невозвратных лет —
как смутное воспоминанье
о том, чего уж больше нет!

Печальное

Когда, ниспосланы судьбой,
потери, смерти и разлуки
приносят в нашу жизнь с собой
еще неведомые муки

и, скрыты тайной бытия,
неотвратимо, безответно
уходят на погост друзья,
надежды — в сумрак беспросветный, —

тогда участия громкий зов,
души касаясь безутешной,
как дальний звон колоколов,
услышанный в ночи кромешной,

разбудит эхо прежних бед,
и боль ожившего мгновенья
вдруг всколыхнет в обломках лет
уснувшие разуверенья,

и полетит их скорбный рой
сквозь эти сумрачные дали
вновь навевать душе больной
сны леденеющей печали,

покуда не забрезжит в ней
мысль утешенья и привета,
что, разгораясь все сильнее
лучистой полосой рассвета,

всем нашим горестям в укор
на языке ушедших милых
начнет невнятный разговор
о небесах и о могилах.

Неизменные звезды

Когда моя душа
и жизнь и тело от себя отторгнет
и я усну во тьме
могильной ночи, ночи самой долгой, —

тогда мои глаза
из жизни всей одно лишь будут помнить
во сне небытия:
бесстрастный свет твоих бездонных взоров;
и, распадаясь в прах,
в могиле темной
увидят из безвестного Ничто
твои крошечный мрак пронзающие очи.

Новобранец

Покуда добрые руки
его земле не предали,
на самом краю ущелья
повис он в зарослях частых,
пулей из «ремингтона»
в бою простреленный насмерть;
он в грубой солдатской форме
и полотняной рубахе,
с жилистой тощей шеи
святой образок свисает,
его суконные бриджи
в подтеках и пятнах грязи,
глаза у него раскрыты,
скрючены грубые пальцы,
от сгустков засохшей крови
волосы слиплись на ране;
в этом бою жестоком
всю ночь он бился храбро,
теперь он — мертвое тело,
бедняга новобранец.

Его имя? Безвестное имя...
«Пропал Абудело Хуан!» —
так его назвал в разговоре
кто-то из однополчан.
А кто его мать? Безвестно
живет на забытом ранчо,
бессмысленно и одиноко
день за днем провожая.

Как жил он? Жил как живется —
жизнью простого парня,
мирно, не зная злобы,
до той вонючей казармы,
где он промерзал до костей
холодными ночами,
отбивая зубами дробь
под казенным худым одеялом.
Там он узнал впервые
ночи без сна в наряде,
одиночество и тоску,
бедняга новобранец.

Когда, не щадя своих сил,
проходили маршем солдаты
от египетских знойных пустынь
до российских пустынь необъятных,
за вожатым с орлиным взором
и несгибаемым нравом —
тот на марше или в бою
умел ободрить солдата,
было слово его похвалой,
и приказ его был наградой.
Но с капитаном Лондоньо
только и видел парень
карцеры да колодки,
брань да толчки прикладом;
только и слышал он
окрик: «Р-равняйся! Напр-раво!» —
пока его час не пришел
и на бегу не упал он
с криком: «Мама, прощай!» —
бедняга новобранец.

Диего Фальону

Когда твоих широкозвучных стансов
торжественные строфы
в столетиях, грядущих нам на смену,
уже никто не вспомнит;
когда не только о твоих твореньях
не будут знать потомки,
но даже имя Нуньеса де Арсе
с трудом найдет ученый, —
тогда заговорят сквозь дрему души
лесов многовековых,
овеянных под вечер облаками
и сумрачною мглою;

от тростников над озером промчится
 неизъяснимый ропот,
 идиллии рождаются
под сенью пышных крон, во мху зеленом;
тогда придет черед слагать поэмы
 вселюбящей Природе,
связующей в одной строфе великой
долины горные и птичьи гнезда.

Потерянные ноты

(Фрагмент)

Опустите бедную деву,
с трепетом опустите,
нежно и осторожно
в землю ее положите
и бросьте холодные горсти
земли на ее могилу!
Ее уста смыкает
последняя улыбка,
ее краса молодая
на смертном ложе застыла,
увяла хрупкая юность,
до времени опочила!
Опустите бедную деву,
с трепетом опустите,
нежно и осторожно
в землю ее положите
и бросьте холодные горсти
земли на ее могилу.

А после с трепетом сердца
ройте другую могилу
подле печального ложа
той, что с улыбкой почила,
и пусть там уснут навеки
вдали от этого мира
память о нашем счастье
и нежность моя к любимой.
Опустите туда мою душу,
с трепетом опустите
и бросьте холодные горсти
земли на ее могилу...

Ноктюрн

О дева бледноликая, оберегаешь ты,
как лучшее сокровище, невинность чистоты;
тебя и самый дерзкий в горячке исступленья
не оскорбит порывом мужского вожделенья;
святая непорочность в очах твоих лучится,
когда ты подымаешь тенистые ресницы;
уста, что размыкает лишь возглас: «Аллилуйя!»,
еще не омрачались и тенью поцелуя.
Скажи мне по секрету, чуть слышно, втихомолку,
проникновенным голосом, нежней и мягче шелка:
ужели ты ни разу во сне не увидела
того, о ком вздыхала ночами после бала,
к твоим устам устами не приникал он смело,
не осыпал лобзаньями твоё нагое тело
вплоть до мельчайшей складочки, душистых орхидей,
и розовые, твердые концы твоих груди?
Тебе бы не хотелось изведать сладострастья,
в объятьях раствориться и умереть от счастья?
Чьей радостью ты станешь, о ком твои мечты?
О дева бледноликая, скажи, проснешься ль ты?

Пессимисту

Ты в черном свете видишь все вокруг,
но есть отрада в этой жизни странной —
не все в ней душу растравляет раной,
существованье не всегда недуг.

Свет неразлучен с тьмой; немало мук
в агонии страстей, в любви обманной;
источник нашей боли постоянной —
боязнь потерь, забвенья и разлук.

К чему сомненья? Радостью даруя,
еще нас ждут в неведомом пределе
родное сердце и благой покой,

от полноты душевной поцелуи
и женщина, что нежною рукой
баюкает младенца в колыбели.

Зачем...

Зачем лобзаний иступленье
в ночах, что мы забыть не в силах,
нас убивает подле милых
безудержностью вождельня?

Мудрей ли ранние моленья
в приюте иноков унылых,
где крест и череп в кельях стылых —
единственные украшенья?

Нет, бесконечного провидцы!
Последний, смертный плоти крик
таит прозрения иные.

Даруем ей блаженства миг,
доколе прах не возвратится
в глубины черные, земные.

Тебе

Ты и не знаешь, что мне приснилось
в снах, белоснежных, как горностаи:
снилось мне, будто ты меня любишь,
крепко целуешь, тихо вздыхаешь;
будто мы оба смотрим в просторы,
полные света в час предзакатный;
будто на крыльях душу уносит
в высь, в бесконечность, в вечные дали.

Ответ Земли

Жил-был поэт великий, вития вдохновенный;
к гостинице с дороги он завернул, и вдруг:
«О мать-Земля! — вскричал он, — стезею неизменной
ты шествуешь, свершая свой изначальный круг,
как будто и не знаешь о нашей жизни краткой.
Скажи мне, рай иль бездна нас будет ожидать,
блаженства или муки? Ты нас томишь загадкой,
бездушная, слепая, безжалостная мать!
Ты нам не сострадаешь, не плачешь с нами в горе!
Иль ты сама о тайне не ведаешь своей?
Зачем так черны ночи и так прозрачны зори?
Сквозные отраженья трепещущих стеблей,
что зыблются на водах причудливо и странно,
не душам ли подобны, и темная вода
творит подобье жизни неверно и туманно?
Кто мы? Куда влечемся? Зачем пришли сюда?
Быть может, только мертвым твой знак открылся тайный?
Зачем ничтожной жизнью, без цели, мы живем?
И ждет ли нас оазис в пустыне сей бескрайной?
Зачем же мы родились? Зачем же мы умрем?
Зачем? Ответь, родная, утишь печаль поэта!
Твой жрец, я преклоняю колени пред тобой
и в ужасе священном смиренно жду ответа...»

Земля себе кружилась, не слушая его,
да так и не сказала поэту ничего.

Мадригал

Румянец нежный, хрупкая фигурка
танагрской статуэтки, аромат
цветущих лилий, очерк прихотливый
карминных губ, и этот пылкий взгляд,
походки ритм и речи переливы,
и волосы, как будто плащ атласный,
когда распустишь узел их тугой
ты белоснежной, в ямочках, рукой, —
все, все в тебе — и не дивись напрасно —
мужчину призывает громогласно!

Комментарии

ХОСЕ АСУНСЬОН СИЛЬВА (JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, 1865—1896). Один из основоположников (наряду с никарагуанцем Рубеном Дарио и кубинцами Хосе Марти и Хулианом дель Касалем) испано-американского модернизма. Трагические обстоятельства судьбы — разорение и кончина отца, смерть любимой сестры, крах дипломатической карьеры, безвозвратная гибель лучших рукописей во время кораблекрушения — подорвали душевное равновесие поэта, и он на тридцать втором году жизни покончил с собой. Среди его поэтического наследия выделяется цикл «Ноктюрн», поразивший воображение современников не только пронзительно-трагическим лиризмом, но и непривычным для традиции испанского стиха «вольным» силлабо-тоническим ритмом. Автор поэтических книг «Стихи» (1886), «Перламутровый ларец» (1893), «Застольные» (1928).

Диего Фальону

Диего Фальон (1834—1905) — колумбийский поэт-романтик и музыковед.

Нуньес де Арсе Гаспар (1834—1903) — испанский поэт-постромантик.